

Новая Польша 4/2011

0: БОГ СПИТ

Марек Эдельман (1919-2009) был врачом-кардиологом, во время войны — одним из создателей Еврейской боевой организации (ЕвБО), последним командиром восстания в варшавском гетто, участником Варшавского восстания. По убеждениям — социалист, после войны находился в остром конфликте с системой. Для Эдельмана величайшими ценностями были жизнь и свобода. Он всегда безоговорочно противился злу, но вместе с тем и банальному опошлению правды, сентиментальным представлениям о прошлом.

— Лех Валенса написал в письме к вам [в 1983 г.], что восстание в гетто было самым польским из всех польских восстаний. Разумеется, из-за своей безнадежности.

— Ибо то, что сегодня называют восстанием, действительно было безнадежным. Восстание происходит тогда, когда у вас есть какая-то цель и замысел или хотя бы надежда победить. Поэтому то, наше, нельзя, в сущности, назвать восстанием. Не было и речи о победе, речь шла о защите гражданского населения, да и то на какое-то время. Задача была в том, чтобы еще чуточку продлить людям жизнь. Было же известно, что не навсегда. Мы знали, что у нас нет шансов выиграть.

Мы были городскими партизанами. А если в городском партизанском движении у тебя нет поддержки населения, то тебе предстоит погибнуть. Городские партизаны существуют только вместе с гражданским населением. И потому мы тоже по сути дела существовали до тех пор, пока в гетто еще было хоть немного людей — укрывшихся тут, укрывшихся там. Они прятались, но нам помогали. Уже само знание того, что они еще где-то укрываются, было для нас очень важным...

Но мы не могли перенести наши действия за пределы гетто, потому что кроме гетто никакой базы не имели.

Население Варшавы относилось к нам по меньшей мере равнодушно, а в какой-то части — враждебно. Естественно, были и такие, кто стоял в гарнизонном костеле и плакал, видя пылающее гетто, но их была горстка. А остальные рядом развлекались на карусели.

Тогдашнее восстание не имело никаких шансов на победу — даже в замысле. Следовательно, это было не восстание, это была защита населения.

Разные организации говорили: эти евреи ничего не стоят, идут, словно бараны на бойню, не умеют защищаться — и это был сильный нажим. Хотя я как-то не видел крупных вооруженных выступлений польского подполья в Варшаве до той нашей авантюры в гетто в январе 1943 г., еще до восстания.

Первая польская акция была, когда отбили «Рыжего» у варшавского Арсенала. Но до этого, как раз в январе 1943 г., Еврейская боевая организация впервые сразилась в гетто с немцами, когда те пытались продолжать вывоз евреев в газовые камеры. Произошло несколько уличных столкновений, и на пятый день немцы прервали операцию.

Наше восстание вызывало разные отклики. У одних — сострадание, у других — ненависть, а третьи были довольны и говорили потом: какое счастье, что Гитлер сделал за нас эту работу и убил этих евреев.

Я этого не выдумываю: такое часто говорилось во время войны, причем не среди темных масс, но и среди интеллигенции тоже. Если крупный варшавский архитектор, который после войны отстраивал столицу, отвел в комендатуру к немцам двух маленьких еврейских детей... Они прятались у него под верандой — спали там, кормились тем, что где-нибудь насобирали... А когда горело гетто, он говорил: «Жаль, что этот Тувим тоже там не жарится». Мне рассказывала про это знакомая, которая была у него домработницей; ей, к счастью, удавалось как-то скрыть от этого человека, что она еврейка.

Так что с этой интеллигенцией бывало по-разному. Был Чеслав Милош, который написал стихотворение «Campro di Fiori», был Ежи Анджеевский, который написал рассказ «Страстная неделя». Это потрясающее произведение. А написать за 10-12 дней текст о том, что происходит прямо сейчас... Цель не в том, чтобы сразу получился Пруст, а чтобы дать свидетельство. Но, когда он на какой-то встрече писателей читал это в первый раз, только

Налковская сказала, что это хорошо. Остальные молчали. Почему? Потому что они этим не жили. А это ведь был цвет польской интеллигенции.

Скажем, Ивашкевич тоже этим не жил. В его «Дневниках» есть запись, что он видит гетто, видит, как там горят всякие бумаги, — и сразу же после этого отправляется поесть пирожных и размышляет, хороши ли эти пирожные и придутся ли они по вкусу его приятелю. Он жил нормальной жизнью.

У Марии Домбровской в «Дневниках» тоже ничего нет. Большая польская писательница ведет ежедневные записи, и оказывается, что вопрос боев в гетто как бы не существовал. За три недели она ни разу об этом не упоминает. Естественно, когда требовалось потом официально что-то сказать, то она знает, что и как, но видно, что в ее жизни это вообще не имело значения.

В Варшаве жизнь была нормальной... Поэтому надо помнить и отмечать годовщины. Так поступают применительно к подобной позиции. Против нее. Потому что в какой-то момент безразличие — то же самое, что и уничтожение, убийство.

Если ясно видишь зло и отворачиваешься или не помогаешь, когда можешь помочь, то становишься одним из тех, кто несет ответственность. Потому что твоя отвернувшаяся голова помогает тем, кто вершит зло. А таких случаев были десятки. Гораздо удобнее и приятнее пойти в кафе и понаслаждаться пирожным, чем смотреть, как людей расстреливают. (...)

В гетто дошло до того, что как-то не отмечали смерти самых близких людей. Не получалось. Сам я имел дело со смертью главным образом в больнице. Даже не знаю, как увозили тех детей, которые у нас умирали. Видимо, это устраивало похоронное заведение Пинкерта, которое занималось захоронениями в гетто. Позднее я какое-то время работал в прозекторской, но и там тоже больница после вскрытий не закапывала тел.

— **Вы помните, кто из ваших подчиненных первым погиб в восстании?**

— Михал Клепфиш